

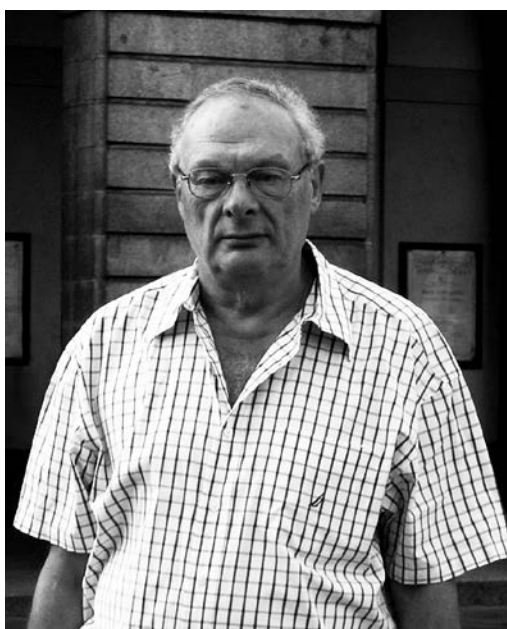


ДАВИД ГАЙ

УПАКОВАННАЯ
ЛУНА







Давид Гай

УПАКОВАННАЯ
ЛУНА

Роман

BOSTON • 2022 • CHICAGO

Давид Гай

Упакованная луна. *Роман*

David Guy

The Packed Moon. *A Novel*

Copyright © 2022 by David Guy

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by an information storage and retrieval system without permission in writing from the copyright holder.

ISBN 978-1-950319916

Edited by Marina Tyurina Oberlander

Book Design and Layout by Yulia Tymoshenko

Cover Design by Valery Bochkov

Published by M•Graphics | Boston, MA

📄 www.mgraphics-books.com

✉ mgraphics.books@gmail.com

In cooperation with Bagriy & Company | Chicago, IL

📄 www.bagriycompany.com

✉ printbookru@gmail.com

Printed in the United States of America

В Нью-Йорке умирает старый писатель-иммигрант. Остаются три чемодана его архива. Волей обстоятельств архив попадает к внуку, выпускнику Гарварда, свободно говорящему и читающему по-русски. Разбирая бумаги и фотографии, внук как бы примеряет на себя жизнь деда. Перед ним предстаёт яркая человеческая судьба — с заковыками, находками, потерями, страданиями, любовью, изменами, горестями, утратами, обретениями. Предстоит разгадать секреты, тайны, заглянуть в сокровенные уголки души, ответить самому себе на вопрос, на который дед уже не ответит: выше ли то, к чему он стремился, чем то, с чем боролся?

Органичным образом в канву повествования, ведущегося от имени внука, вписывается война в Украине: он вовлечён в события, вызванные агрессией России, участвует в спасении киевлянки — внучки близкой подруги деда. И неожиданная развязка...

Всё это придаёт роману острую актуальность.

То, что сжимают — расширяется.
То, что ослабляют — укрепляется.
То, что уничтожают — расцветает.
Кто хочет отнять что-нибудь у другого, непременно
потеряет своё.

Лао Цзы

Самая большая вина русского народа в том, что он всегда безвиновен в собственных глазах. Мы ни в чём не раскаиваемся. Может, пора перестать валять дурака, что русский народ был и остался игральным лежащим вне его сил?.. Удобная, хитрая, подлая ложь. Всё в России делалось русскими руками, с русского согласия, сами и хлеб сеяли, и верёвки намыливали. Ни Ленин, ни Сталин не были бы нашим роком, если бы этого не хотели.

Юрий Нагибин, 1994 г.

Ни Путин.

Давид Гай, 2022 г.

Человек — это животное, которое сошло с ума. Из этого безумия есть два выхода: ему необходимо снова стать животным, или же стать большим, чем человек...

Карл Юнг

Дом глазел на меня с прищуром, исподлобья — что за птица залетела и откуда; сруб двухэтажного строения, много лет поливаемый дождями, полоскаемый снегами, обдуваемый ветрами, напоминал заброшенного, убогого, неприбранного, карзубого, одиноко мыкающего век старика с глубокими бороздами на лице, как при неровной вспашке. Дом понурился, скукожился, бревенчатые бока почернели, из щелей торчала пакля, его давно не ремонтировали, не красили. Заделка паклей щелей по-русски именовалась конопатка — я узнал мудрёное словцо с помощью интернета, искал аналог в английском и нашёл — *caulking*.

Конопатка выталкивала на поверхность дурацкий стишок, услышанный от вспоминавшего детство деда: «*Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой, а я дедушку не бил, а я дедушку любил...*» Конопатый, как я выяснил, означает «рябой, веснушчатый», к заделке щелей не имеет никакого отношения — просто созвучие и не более.

В этом доме, когда-то единственном двухэтажном на всей улице подмосковного города, родился мой дед, и этот непреложный факт затейливой его биографии привёл меня, жителя Нью-Йорка, сюда.

В поездке меня сопровождал старинный московский друг деда, я обращался к нему «дядя Генрих», а он ко мне — Кирилл, иногда Кирюша. Он отреагировал на дом, показалось, сокрушённо-разочарованно — вот ведь в какой халабуде обитал его дружбан... А я воспринимал увиденное как мёртвую оболочку, хитон мухи, их которой паук времени высосал содержимое. Здесь жили люди, надо думать, невысокого достатка, иначе перебрались бы в более приемлемое жильё — вон по соседству какие отгрохали кирпичные хоромины, крытые жестью и светлой черепицей...

В ранний час выходного дня обитатели дома спали, двор пустовал. Дед вспоминал: первый этаж делили его семья и родные сёстры отца: врач Роза с мужем, учительница Маня с дочерью и ещё старушка с племянницей, приехавшие из города Касимова на Оке. Окна дедовской квартиры с остеклённой верандой смотрели на огороды, клумбы с цветами и деревянный туалет, куда ходили по малой и большой нужде все жильцы. Внутри холодного сортира, зимой с корками льда вокруг дыры, называемой «очком», на гвоздике висели аккуратно нарезанные и подсушенные полоски газеты «Правда» — о туалетной бумаге тогда и понятия не имели. Я воспринимал этот рассказ как нечто фантазмагорическое, потустороннее, из какого-то другого века, но никак не 20-го.

Дом имел достопримечательность: будучи самым высоким и приметным, он вывешивал флаг на праздники 1 мая и 7 ноября. Флагом ведал Ильгин, живший на втором этаже, чьи окна смотрели на улицу. Дед ворошил в памяти: в процессе водружения флага на фасаде, аккуратно под окнами Ильгина, участвовали, словно в ритуале, все обитатели в виде сторонних наблюдателей. Ильгин ставил лестницу-стремянку, забирался наверх и приколачивал к бревну сруба древко с алым полотнищем.

Ильгина соседи не любили, за глаза называли *стрикулистом* (ещё одно незнакомое мне заковыристое слово, обозначавшее «ловкач», «проныра», «прохиндей»). Взяв курс русского языка в Гарварде, я уже имел представление о невиданном богатстве лексики). В престижный университет я попал благодаря отличной учёбе и успехам в спорте. Занимался фехтованием на сабле, тренером был мой отец Семён, бывший чемпион СССР. Фехтование в Америке развивали многие тренеры из Советского Союза, мат у них не сходил с языка: американские ученики всё равно не понимали... Я же общенную лексику освоил достаточно рано, однажды пострадав от излишнего знания. В одном из сабельных поединков на международном турнире выразил недовольство решением судьи, произвольно вырвалось: «У, блядь!», судья мигом показал жёлтую карточку, а мог и красную. Рефери был канадец с предками из Украины, русские нецензурные слова и фразы он, оказывается, хорошо знал.

Впрочем, «стрикулист» не относился к аргю, в обиходе использовался часто.

А ещё дед запомнил, как недобро зырился его отец, задрав голову и наблюдая за стараниями Ильгина, укреплявшего древко флага. Он терпеть не мог красные полотнища, под которыми ходили на праздничные демонстрации толпы людей и которые украшали фасады советских присутственных мест. На эту тему, понятно, не распространялся, но после смерти Сталина своей нелюбви от 12-летнего сына не скрывал. Тогда же Даня, мой будущий дед, узнал, что отец его сидел по политическому обвинению и чудом вышел из тюрьмы, а мужа сестры Мани расстреляли в 1938-м. Отец рассказал Дане: по достоверным сведениям, Ильгин строчил доносы. На партсобрании коллега-сосед шепнул, указав на обложку брошюры вождей революции: «Смотри — что у Ленина спереди, у Сталина сзади». Имел в виду инициалы В.И. и И. В. После доноса схлопотал «десятку» и узнал от следователя, кто на него настучал. В лагере уцелел, вышел по амнистии после кончины вождя и крепко побил доносчика.

Дед начал соображать, что к чему в стране, где суждено было родиться, после 5 марта 1953-го, о чём подробно поведал в многостраничной саге. Я неоднократно перечитывал место, в котором он описал безумную пьяную ночную исповедь отца, праздновавшего смерть тирана и не побоявшегося открыть мальчугану правду. Дед неоднократно вспоминал ту ночь своего прозрения, открываясь для меня новыми стёклышками затейливого калейдоскопа...

С Ильгиным судьба обошлась жестоко — в начале 50-х его единственный сын погиб, наказанный за богохульство. Так отпечатались в моей памяти очередные откровения деда. Виталий Ильгин учился в военной академии, готовившей политработников-комиссаров. С двумя друзьями приехал домой отметить день рождения. Крепко выпили, нелёгкая занесла их на кладбище, где парни начали соревноваться, прыгая через могилы — кто на спор одолеет самую высокую ограду. Виталий неудачно прыгнул и повис на острых пиках ограды, пропоров живот. «Скорую» вовремя не смогли вызвать, и он, истекая кровью, *окачурился*. (Слово это я долго заучивал, но произносить правильно так и не научился...)

Таких похорон улица ещё не видела. Прибыл личный состав курса, военный оркестр играл траурную музыку, гроб с телом Виталия несли на руках до автобуса, направлявшегося на то самое кладбище. Соседи молча провожали в последний путь. Один из них, дед отчётливо услышал, пробормотал: «Кошунник» и добавил: «Бог, он всё видит...»

«Кошунник» пополнил мой список заковыристых, вкрадчивых, воинственных, ворчливых, поучительных и иных слов, которые прошли мимо в период изучения русского языка в Гарварде.

Кто теперь живёт в дедовской квартире, было неизвестно. Заходить туда я не захотел — после стольких утекших лет его дух начисто испарился.

Я смотрел на дом и видел кучерявого мальчишку в штанишках на помочах (детских подтяжках — интернет расшифровал очередное незнакомое слово), судя по фотографиям, худенького, узкоплечего, вьюном носящегося по двору и улице, наивного, опасливого, немного трусоватого, избегающего драк, ибо природа обделила мускулами; а вот он уже постарше, в сатиновых шароварах, тенниске на «молнии» и китайских кедах, он ещё не знает, что ему уготовано, но по мере взросления всё чаще задумывается над будущим, выглядящим неопределённым и в силу этого пугающим; тогда же, на переходе от отрочества к юности, посещают его непрощенные мысли: если это солнце, и эта вода, и эти деревья когда-нибудь исчезнут для него, то есть исчезнет для них он сам, то стоит ли вообще жить, к чему-то стремиться, не всё ли равно, когда оборвётся его существование, коль оно несомненно оборвётся — и охватывает его жуткая тоска. Всё вокруг кажется унылым, ущербным, бесполезным, бессмысленным, и в голову начинает лезть несусветное. Это называлось не страхом смерти, а *страхом жизни*.

Примерно так дед описывал тогдашнее своё состояние, к счастью, быстро исчезнувшее, как растворившаяся в воде таблетка...

К поездке в Москву я готовился основательно. Простудировал описанные дедом в повести эпизоды чудесатого дет-

ства, сделал пометки. Он часто вспоминал запыленные годы, я слушал и кое-что не ленился заносить в специальную тетрадку. Помогли и «Разрозненные мысли» — дедов дневник, обнаруженный в архивных бумагах. Вёл он дневник от случая к случаю. Но и содержавшееся в нём подвигало на некое осмысление дедова угловатого пути в жизни и литературе.

До этого в России я побывал единожды — на турнире «Московская сабля». Ещё до поступления в университет. Поселился с отцом-тренером в шикарном отеле на Тверской улице. Семён показал дом у Покровских ворот, где жил в раннем детстве, и последнюю квартиру на улице Тухачевского, откуда отбыл в эмиграцию в 1991-м. На родину деда в подмосковное Раменское мы однако не сподобились съездить ввиду острой нехватки свободного времени, могилам родных не поклонились — к крайнему огорчению деда, поручившего нам эту миссию. К близкому другу деда смогли заскочить всего на пару часов. Дядя Генрих настолько растрогался, что пролил слезу.

Нынешний приезд я спланировал на три дня. Российские порядки были мне ведомы: не хотелось заниматься унижительной и прискорбно-глупой процедурой регистрации в полиции. Если находишься в стране не более трёх суток, регистрация не требуется. Я решил уложиться в отпущенный срок.

Остановился у дяди Генриха на улице Врубеля. Дед рассказывал, какие замечательные дни дружба проводили в посёлке художников недалеко от «Сокола», среди садов, хвойных и лиственных деревьев, изумрудной травы — природа щедро вторглась в городской пейзаж. На Новый год однажды гости катались на санках по свежей пороше, оглашая посёлок неприличными частушками... Увы, островку заповедности оставалось недолго жить — в 90-е новые русские оккупировали посёлок, снесли часть старых построек и возвели дворцы безвкусной архитектуры, с претензией на классический стиль — с дурацкими колоннами, неуместными портиками, эркерами и прочей декоративной мишурой.

Тогда же на улице Врубеля появился 30-этажный домина с подземными гаражами. Улица стала шумной, вечный трафик... Но тогда, в пору молодости деда, это, по его признанию, был рай.

Я рая уже не застал. Зато приязнь хозяина ощутил в полной мере. Он окружил заботой и вниманием, иногда чрезмерными — словно расплачивался со мной теплом, недоданным деду ввиду разлуки с ним (дед покинул Россию в 1993-м). Впрочем, дважды они виделись: дед пригласил друга в Нью-Йорк и в Калифорнию, в итоге родился снятый и смонтированный дядей Генрихом фильм, я с удовольствием посмотрел его — ходивший тогда пешком под стол, изредка попадал в кадр...

— Ни один человек не богат настолько, чтобы купить своё прошлое, — меланхолично произнёс дядя Генрих. Наверняка цитата, неизвестно откуда взятая, мне, во всяком случае. Мой спутник немало лет занимался полиграфией, был книгочеем, собрал отличную библиотеку. Начитанности его дед завидовал. Сейчас сказал весьма к месту, и характерный посыл рукой в направлении дома говорил о том, что погружается в назидательные миражи прошлого, пробуя связать их с бесстыдной сегодняшней реальностью.

— Скажи, Кирюша, испытываешь волнение при виде более чем скромного обиталища твоего деда Даниила Дикова? — прозвучало слегка высокопарно. — Задача, которую ты перед собой поставил — написать книгу о нём — её исполнение во многом зависит от твоих переживаний, не так ли?

— Ты прав, дядя Генрих. Между прочим, на этой улочке почти восемьдесят лет назад он едва не погиб. Отразил случай этот в некоторых книгах. Помнишь?

Дядя Генрих имел особенность моментально не отвечать, длил секунду-другую, пока созревала мысль. Вот и сейчас чуть промедлил:

— Что ты имеешь в виду?.

— Только началась война с немцами, мой прадед добровольцем ушёл на фронт, ему уже было сорок пять, прабабушка родила Даню и с... как это по-русски?... с грудничком на руках вышла погулять. И тут её заметила «рама»...

— Припоминаю... — прозвучало после паузы.

В наших с дедом беседах эпизод с немецкой «рамой» занимал особое место — и всякий раз всплывали ранее опущенные детали. Не придумал ли дед эту байку, не сработало ли пи-

сательское воображение? — порой закрадывалось сомнение и тут же отбрасывалось — *такое* не придумывают.

«До сих пор не могу убедить себя в том, что моя младенческая память не была собственной, незаемной, возникшей из моего видения и чувствования, а причудливо соткалась из чьих-то рассказов, знакомых сызмальства и осевших в ячейках мозга. Элементарный здравый смысл указывал на тщету моих упований относительно столь рано развившегося рефлекторного сознания, однако я с наивным упрямством никак не мог смириться с взятыми, выходит, взаймы, напрокат ощущениями и азартно, до слёз, всячески доказывал, что *помню* метровой глубины траншею для укрытия жильцов нашего дома на случай бомбёжки, выкопанную за сараями уходившим в ополчение отцом; сухой треск пулемётной очереди, когда за мамой, застигнутой врасплох на улице, прижимавшей живой запелёнатый комочек, то есть меня, вдруг начал гоняться немецкий воздушный разведчик на двухфюзеляжной «раме», каким-то образом залетевший в наш не воевавший город в 45 километрах к юго-востоку от Москвы; *помню* внезапный приезд с фронта в октябрьский день безумства и паники дяди Шуры, майора контрразведки, запретившего матери уходить с беженцами, ибо шансы выжить с грудным младенцем на руках были ничтожно малы; *помню* раненого отца с бородой, впервые увидевшего меня в Лефортовском госпитале через четыре месяца после моего рождения. *Помню* ещё много чего, хотя никак не мог этого помнить».

«Город покуда не бомбили, мать без опасения гуляла со мной на руках — коляски не было. Неширокая, ещё не сплошь застроенная улица одним концом упиралась в рынок, другим — в поросший высокой травой пустырь, где паслись коровы и козы. От железнодорожного полотна и станции улицу отделяло не более трехсот шагов, и жители деревянных домишек засыпали под неумолчный перестук колёс эшелонов. Днём эшелоны шли редко, зато ночью земля гудела.

То ли близость станции, то ли приметный ориентир — наш двухэтажный дом, но однажды над улицей, едва не касаясь печных труб, протарахтел немецкий самолет-разведчик, который на фронте окрестили «рамой». Застигнутая врасплох у высокого штакетного забора мать при виде и впрямь напоминавшего раму двухфюзеляжного чудовища инстинктивно прижала меня к груди, втянула голову в плечи и замерла как вкопанная. Немец сделал разкий разворот и вновь летел над улицей, так низко, что мать (клялась потом, что не могло померещиться) увидела огромные застывшие-беспощадные глаза лётчика под очками шлема. Если бы не страшные глаза, она осталась бы стоять у забора, а тут, почувствовав полную незащищенность, побежала в противоположном направлении, точно птица, уводящая хищника от родного гнезда.

Самолёт позволил себе спуститься низко, абсолютно уверенный в собственной неуязвимости. Так оно и было: войск в городе не было, зениток тем более, город находился в стороне от района боевых действий. Залетевший сюда разведчик спокойно мог наблюдать, фотографировать, в конце концов он удалился бы восвояси, не подвернись одинокая метавшаяся на дороге с каким-то свёртком в руках женщина. В немце проснулся инстинкт сторожевого пса, особенно яростно кусающегося убегающих.

Мать не слышала пулёмного треска, она только увидела перед собой впившиеся в землю буравчики и упала, ободрав кожу на локте, предохраняя меня от удара. Разведчик сделал новый полукруг и зашёл с другой стороны. Мать успела отползти к забору и накрыть меня собой. Очередь прошла траву и подрубила штакетник, обойдя живую скрючившуюся мишень. «Рама» зло вильнула боками и улетела, окончив охоту.

Ещё не веря, что осталась жива, мать несколько минут лежала не шелохнувшись, поднялась, доковыляла до нашей калитки, вошла на веранду, и у неё начался озноб. Накинула шаль, драповое пальто на толстом ватине — нервная дрожь не проходила. Самое удивительное, что, несмотря на падение матери и очевидное неудобство лежания на траве, я не проронил ни звука, продолжая спать».

Картины эти отсканировались в мозгу и прокрутились кадрами кинохроники. Я вкратце пересказал тексты дяде Генриху, он подтвердил, что вспомнил, и глубокомысленно резюмировал:

— Жизнь от смерти порой миг отделяет. Могло случиться, что ты не имел бы деда Даниила, но, к счастью, не случилось...

Мы стояли у калитки дома, глядя на улицу: заасфальтированная, с давно истреблёнными подорожниками, лопухами, желто-солнечными одуванчиками, выглядевшими в траве крохотными цыплятками, с нежным пухом — дунь и разлетится — улица совсем не походила на прежнюю, из детства деда.

— Дядя Генрих, ты игры послевоенной поры помнишь?

— Игры? — переспросил, кажется, удивившись вопросу. — Мы из эвакуации вернулись в 44-м. Особых игр не было. Ну, тряпичный мячик гоняли, пряталки, «казаки-разбойники», что там ещё... Не равняй московские дворы и здешние улицы — у Дани многое по-другому происходило.

— Он перечисляет: штандр, «ножички», ходули, ловля майских жуков, .. А в школе — жостка, педилка, пристенка.

— Названия знакомые, но мы на улице Врубеля в это не играли. Пожалуй, только жостка в ходу была.

— Мальчишки подкидывали ногой тряпочки с песком, туго стянутые нитками у горловины?

— Верно. Главное — удержать жостку в воздухе как можно дольше, не дать упасть. Некоторые виртуозы по двести очков за раз набивали.

— «Ножички» — отголоски войны с немцами, — считал дед. — Чертился большой круг, делился поровну на две, три, четыре части, в зависимости от числа играющих, каждый занимал свою территорию, начинающий игру втыкал перочинный ножичек с открытым лезвием в «чужую» землю и отрезал кусок, присоединяя к «своей» земле. И твёрдое условие: отрезать дотуда, докуда дотягивался со «своей» территории, притом не опираясь на «чужую» никакой частью тела. Стоило кому-то захватить бóльшую часть круга, как он слышал: «У, фашист проклятый!»

— Славная игра. Даня прав — отзвук войны. Не кажется ли тебе, дорогой Кирюша, что ... — сделал запинку — что нынешние времена возродили незамысловатые «ножички»: раз —

Абхазию с Южной Осетией отрезали, два — Крым, три — Донецк и Луганск? Только вместо лезвий — мины и снаряды.

— Интересная мысль. Я об этом не подумал.

— А ты подумай...

Мы сделали несколько снимков дома на смартфоны, дядя Генрих запечатлел меня на фоне строения, я — его; получилось и сэлфи, только очертания дома размылись на фоне наших физиономий.

Мы двинулись в направлении станции, а оттуда — на кладбище. Я покидал дом с неизбывной грустью навсегда прощающегося с прежде незнакомым и вдруг ставшим дорогим. На повороте оглянулся, увидел за деревьями и постройками часть окон второго этажа, померещилось — дом машет мне рукой и что-то произносит, но что, я не различил.

Мой спутник приблизительно знал дорогу — некогда с Даней совершил такую поездку и на всякий случай записал маршрут. Бумажка уцелела, чёткий, скрупулёзный, он ничего просто так не выбрасывал. Сейчас та бумажка была перед глазами.

Мы поднялись на мост и перешли в другую часть города. Идти следовало вдоль высыхающего озера с примыкающими корпусами ткацкой фабрики. По правую руку выстроились жилые кирпичные многоэтажки. Через минут сорок перед нами появились ворота кладбища. Далее ждало самое трудное — найти могилы моих прадеда и прабабушки. В бумажке-путеводителе говорилось об ориентире — памятнике директору завода Михалевичу. Завод был секретный, собирал гироскопы, в просторечии звался «Панель». Звучало пикантно в устах женщин, отвечавших на вопрос, где работают: «На Панели». Дед отрубил на заводе три года до поступления в университет. Рассказывал: учил его гений слесарного дела Фрайонов — один из первых рабочих, Героев Соцтруда за освоение космоса. Ничему толковому он деда не научил: тот как был безрукий, так и остался.

Гранитный памятник директору «Панели» возвышался над остальными могильными плитами и как бы демонстрировал былую власть и славу хозяина самого престижного предприятия города. «От Михалевича» требовалось мысленно провести

диагональ, утыкавшуюся в то, что искали. Так и поступили, однако могилы родителей деда словно исчезли. Буйная растительность полубесхозной старой части кладбища затеняла имена и фамилии на памятниках и плитах. Дядя Генрих прочитал в записке: «В ограде в изголовье растёт ясень. Рядом — могила фронтовика Бурова, фото с орденами и медалями вмонтировано в небольшой обелиск в виде сужающегося кверху каменного столпа». Мы бродили возле могил, продирались сквозь свежие заросли и почти нигде не видели цветов, свежих и увянувших — сдаётся, усопших родственников потомки навещали не часто.

На кладбище я попал второй раз за свои двадцать с небольшим лет. Первый раз в Сан-Диего, когда хоронили бабушку Веру, но тогда я был совсем юным и ничего особенного не запомнил, за исключением рыданий мамы Нади. Я по-своему переживал утрату бабушки, я любил её, однако горестные эмоции не входили в меня, будто натыкались на невидимую преграду, шли, как бы сказать, по касательной. А может, по юности лет я не умел горевать и скорбеть...

То кладбище было по-американски вылизано и прибрано, кругом стояли впечатляющие памятники и склепы из гранита и мрамора. Здешнее же кладбище поражало унынием. Необыкновенные могилы с проржавевшими оградками, кой-где останками гниющих искусственных цветов и похилившимися крестами навевали тоску.

Наконец, усталые и недовольные собой, мы обнаружили искомое. При виде могилы я расстроился, дядя Генрих, судя по насупленным бровям, — тоже. На земляном холмике валялись попадавшие от ветра листья, сухие ветки, клочки обёрточной бумаги, дырявый пластиковый пакет. Ограда порыжела, могильная плита из серой мраморной крошки покосилась.

Дядя Генрих достал из сумки тряпки, смочил водой из литровой, предусмотрительно захваченной бутылки и стал протирать плиту с именами моих родственников Иосифа Давидовича и Доры Вольфовны. Я занялся холмиком — сгребал на газету листья, ветки, мусор. Уборка заняла с полчаса.

Дядя Генрих, как мог, укрепил плиту, покачал головой — это ненадолго.

— Выберу день и приеду с краской приводить ограду в порядок, — пообещал он. Придирчиво потрогал ржавые металлические прутья: — Крепко стоят, что удивительно. Ржавчину можно наждачной шкуркой снять...

Хозяйственный мужик, он знал в этом толк.

Я глядел на плиту с именами, фамилиями и датами жизни моих близких родственников и стремился вызвать в себе определённые чувства. Горевать по поводу людей, которых никогда не видел, пусть и близких родственников — трудно, невозможно, мне кажется. Как я ни старался, ничего не выходило — я не знал их при жизни, довольствовался дедовыми рассказами и описаниями, этого сейчас было мало. Но одна история выплыла-таки сама собой, как внезапно возникают скрытые туманом очертания, когда не видать ни зги. Совершенно особая история, выскочившая, словно из засады, была связана с моим прадедом и относилась к конкретному числу 6 марта 1953-го. Дед описал её следующим образом:

«Отец заявился в начале одиннадцатого, весёлый и пьяный. Таким я его прежде никогда не видел. Мать обомлела, прижав ладонь ко рту. Тётя Маня зарыдала. Отец цыкнул и заговорил с патетическим надрывом, как на трибуне, чего раньше за ним не замечалось:

— Не смей плакать, Маняша! Сегодня самый счастливый день! Тиран сгинул! Вспомни о своём муже, о нашем дорогом, несравненном Саше Виташкине — кто погубил его? Вспомни, кто погубил миллионы таких, как он, кто посадил меня в тюрьму... Он что, не знал, не ведал, что творится в стране?! Им же самим всё и направлялось. А вы слёзы лёте... Дуры вы все, безмозглые курицы...

— Юзя, опомнись, тебя могут услышать, — завохотала мать. — Здесь же ребёнок, — решила прибегнуть к главному, по её мнению, аргументу.

Меня словно ударили обухом по голове. Слова, произносимые отцом, были вовсе непонятными, будто звучали не на русском, и оттого не воспринимались. Дело было не в словах. Непостижимым было другое: горе, даже такое, как сегодня — оказывается, не всеобщее и не всеохват-

ное, раз один из двух самых дорогих мне людей весел и даже выпил на радостях.

Отец возбуждённо сновал по комнате, насвистывал, выкрикивал речитатив: „Режьте моё тело, пейте мою кровь!“, завёл патефон, поставил пластинку — и поплыло ало-праздничное: „Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...“

Дядя Моисей вжал голову в плечи, прогнул спину, будто ожидал удара, и засеменил на свою половину. Замерев, как истуканы, с немым ужасом тётки следили за прыжками отца, схватившего меня на руки:

— Не смейте плакать! Сегодня праздник, и мы... мы будем веселиться! — кружился он со мной, не попадая в ритм музыки.

Длилось это минуты три. Мать в гневе рванула патефонную мембрану с иголкой, пластинка издала противный треск.

— Довольно! Генук! Подумай о нас, коль себя не жалеешь.

Отец пьяно растёкся в нежностях, адресованных всем присутствующим, которых он очень любит, и уже почти своим, прежним голосом, чуть запинаясь, поведал, как на Казанском вокзале узнал о смерти Сталина, как приехал на работу, заперся с Володей Аристом, они пили спирт, обнимались, целовались и благодарили судьбу за то, что дожили до этого исторического момента.

Угомонился он к полуночи и лёг спать.

Ночью чьи-то руки осторожно извлекли меня из кровати. Я оказался в отцовской постели у окна и проснулся. Обычно отец брал меня к себе, когда я заболел. Сейчас он, опершись спиной о большую подушку, полусидя-полулёжа, в темноте, повёл быстролетно-нервным шёпотом, перескакивая с одного на другое, трезвея и с каждой минутой становясь серьёзнее и злее в словах, рассказ о том, что происходило в стране, в которой я родился, которую любил и о которой пел тоненьким голоском на школьных утренниках: „Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек...“ Я мало что понимал в его рассказе, мелькали имена Кирова и его убийцы Николаева, Якира, Тухачевского, Орджоникидзе, Ежова, ещё какие-то

имена, незнакомые мне, он рассказал о муже тётки Мани, отце Софочки, который, оказывается, не погиб на фронте, как мне говорили, а был расстрелян, о мамином брате, тоже арестованном, попавшем в лагерь на Колыме и по сей день живущем в том краю на поселении, потом начал вспоминать свой арест и пребывание в тюрьмах.

Я немного запомнил в те сумасшедшие часы, в моей голове образовалась форменная каша, я уловил лишь самое важное, то, что полностью ломало мои детские представления: выходит, есть два мира — один, открытый передо мной, в котором совершаются разные действия и поступки, и другой, потаённый — о нём не говорят и не пишут, его скрывают, но без него нельзя представить жизнь во всей её полноте; люди, скрытые в этом потаённом мире, ни в чём ни перед кем не виноваты, однако их называют врагами народа, контрреволюционерами, шпионами, диверсантами, на самом же деле всё это брехня, они такие же, как мы все. И то, что некоторые мои близкие принадлежат именно к этому потаённому миру, не оторгло их от меня, а напротив, сблизило меня с ними после услышанного этой ночью.

Отец закончил рассказывать и заснул. Он сильно храпел, изредка стонал и всхлипывал. С острой, сверлящей болью в голове, пытаясь вместить расхристанные мысли, подавленный ворохом невероятных, немислимых открытий, свалившихся на меня, я побрёл в школу. Я не знал тогда солженицынских слов, поскольку „В круге первом“ ещё не был написан, но, прочитанные позже, слова эти как нельзя лучше подходили к моему тогдашнему состоянию: „Я — стебелёк, растущий в воронке, где бомбой вырвало дерево веры“.

Прав ли тогда был мой отец в проделанном без всякого умысла, а просто по причине выпитого, эксперименте, прав ли был с точки зрения педагогики: имел он на это право или нет? Стоило ли кидать меня вот так сразу, без подготовки, в бурную, порожистую реку, где и опытные пловцы захлёбывались и тонули, не в силах справиться с течением? В конце концов, не опасно ли было — для него и для меня? Размышляя над этим, всякий раз прихожу

к убеждению: наверное, стоило. Хотя я сам, будь на месте отца, вряд ли осмелился рассказать двенадцатилетнему сыну такое. Просто побоялся бы — вдруг начнёт болтать и нас всех загребут? Отец почему-то не боялся. В нём всегда присутствовало нечто такое, что отличало от большинства известных мне тогда и после людей и чему я не могу найти строгого определения. Он был доверчив, непозволительно открыт душой, иногда поступал легкомысленно, совсем даже не по-взрослому, однако видел и чувствовал гораздо глубже других; эта самая доверчивость и непозволительная открытость, казалось, вовсе не вписывались в нормы несправедливого, жестокого времени, в котором он существовал; отец должен был не раз погибнуть и наперекор всему выжил. Божья воля, или, как говорил отец, высшая сила, повелевающая судьбами?

Я видел эту картину так отчётливо, будто прадед держит на руках меня, совершает нелепые прыжки, мы крутимся, вертимся в дикой пляске под праздничную мелодию, совсем не соответствующую переживаемому страной скорбному моменту. И что-то внутри вдруг наехало, поломалось, обрушилось, словно пали заслоны под неистовым напором наводнения, меня пробила дрожь — такое, пожалуй, я раньше не испытывал».

Мы положили на могилу букет полевых цветов, купленных у кладбища. Тряпки и газету выбросили на свалку неподалёку. Помыли руки из бутылки и присели отдохнуть на скамейку у выхода.

— Запомни дорогу, — строго произнёс мой спутник. — Коли со мной что случится, сам будешь за могилой следить. Дани уже нет. Тебе как младшему в семье положено.

Я не мог определить своё состояние: будоражило новое, неосознанное до конца, знобко-тревожное, влекущее, взыскующее чувство; впервые я ощутил незамечаемую прежде связь с теми, кто жил до меня и кого никогда не видел. Судьбы дотоле непонятных мне людей становились как бы моими, вторгались в мою оболочку естественно и властно, влетали, как шар в лузу, говоря: теперь ты нас знаешь не понаслышке, помни и не теряй нас в душе. Ты был бы совсем другим, если бы не было нас...

Часы показывали половину двенадцатого. Начинали до-нимать жара и безветрие. Дышалось, правда, куда легче, чем в августовскую погоду в Нью-Йорке. Согласно подтверждённой вчерашним телефонным звонком договорённости, нас ждала бывшая соученица деда. Она пояснила: от кладбища до её дома в посёлке Холодово на машине минут двадцать.

Мы вышли за кладбищенские ворота и двинулись в на-правлении станции. По пути купили с рук роскошный букет гвоздик с крупными алыми бутонами. Расплачиваясь, дядя Генрих с усмешкой произнёс: «Один наш оголтелый нацпатриот утверждал: «Ну что за страна Америка — дети не плачут, собаки не лают, цветы не пахнут, женщины не любят...» А ну, Кирюша, проверь, пахнут ли эти цветы?» Я понюхал — гвоздики источали приятный запах корицы.

К букету мы присовокупили купленную мной в Нью-Йорке коробку бельгийских шоколадных конфет.

Дядя Генрих нажал кнопку смартфона и вызвал такси. Сервис предоставлял Яндекс. Можно было заказать и Uber — го-рода Подмосковья, как я уже знал, не отличаются в этом от-ношении от американских. Набрал адрес, куда ехать, наши координаты уже были обозначены, в том числе на карте, и че-рез минут семь-восемь подлетела «Шкода». За рулём сидел черноволосый парень, смахивающий на кавказца.

Тянувшаяся вдоль железнодорожного полотна трасса ока-залась незагруженной, мы быстро домчались до дома Башмаковой. Подъезд бетонной 9-этажки был открыт, код или до-мофон использовать не требовалось. Лифт довёз до шестого этажа, на стенке чёрным фломастером было выведено: Fuck Тапуа. Я улыбнулся — почти Бронкс.

Нас встретила невысокая крупная женщина с брылястыми щеками (ещё одно обожаемое пополнение моего русского сло-варя — обычно добавляют: «как у бульдога» — применительно к даме звучало бы крайне невежливо, грубо). Крашенная блондинка молодилась, скрывала возраст, но зубы... зубы выда-вали, впрочем, если бы сверкнула голливудской улыбкой коро-нок с прозрачной эмалью, эффект получился бы неважный ввиду несоответствия остального стандартам ухоженности.

Мы познакомились. «Светлана Васильевна», — предста-вилась хозяйка. — Можно Светлана или просто Света, —

сняла естественно возникший барьер, когда люди видятся впервые.

Я вручил гвоздики и цветы, хозяйка расцвела: «Господи, мне цветы сто лет не дарили! И за конфеты спасибо...»

К приёму гостей она подготовилась основательно, стол под бежевой скатертью в гостиной был уставлен тарелками с русской едой: тонко нарезанная колбаса с вкраплениями жира, студень, солёная капуста, маринованные грибы, миска свежего салата — помидоры, огурцы, редис, зелёный лук... Мы ещё раз помыли руки, уселись, Светлана Васильевна принесла дымящуюся картошку и запотелую бутылку «Русского стандарта». Я почувствовал, что проголодался.

— Давайте, господа, помянем раба божьего Даниила, усопшего не на родине, а в чужом краю, — начала она многозначительно-протяжно, как поминальную молитву. Меня покорило, дядя Генрих насупился. — Я с твоим дедушкой, Кирилл, дружила в школьные годы. Переехал он в Москву и пропал с горизонта. Об отъезде в Америку уж и не говорю. Вечная ему память. Не чокаемся...

...Я нашёл Светлану Васильевну случайно. Разбирая архив деда, наткнулся на конверт с несколькими фотографиями группы пожилых людей и письмом на русском. Некая Башмакова сообщала, что нашла адрес деда в интернете через литературный журнал, который он редактировал. «Я та самая Света, с которой ты целовался на школьном дворе. Мы, твои бывшие соученики, пару лет назад объединились в социальной сети «Одноклассники» и приглашаем тебя войти в нашу группу. Там Таня Шепель, Элла Козлова, Витя Андрианов, Коля Сковпень и др. Надеюсь, ты помнишь наших девчат и ребят... Многих, к сожалению, уже нет в живых, но остальные с удовольствием дружат и общаются. Присоединяйся, нам есть что вспомнить...»

Я начал поиск. Отыскать Светлану Башмакову оказалось несложно через «Одноклассники». Написал ей, сообщил свои координаты, в течение месяца она откликнулась; узнав, что дед умер, прислала по имэйлу сочувственные слова, вроде бы вполне искренние. Я позвонил ей в Раменское, поблагодарил за память и намекнул, что собираюсь в Россию встретиться с теми, кто знал деда. Светлана: «Буду рада повидаться».

Сейчас мы пьём водку, закусьваем крепко начесночным студнем (в моей калифорнийской доуниверситетской жизни это русское блюдо неизменно присутствовало во взрослых застольях, его замечательно готовила бабушка Вера) и слушаем рассказы раскрасневшейся от выпитого хозяйки.

— Так вот, Даня, позволь по-свойски так его называть, — обращаясь ко мне, — не ответил на моё письмо, не прислал фотку, как я просила. Загордился: как же, большой писатель, или уже болел в ту пору, я не знаю, но ответа не дождалась. Между прочим, Кирилл, мы с твоим дедушкой симпатизировали друг дружке, может, и любили; помню, несколько раз вечерами, когда в школе никого не было, во дворе на лавочке целовались взапас, он расстёгивал на мне маркизетовую блузку, но дальше дело не шло. Извини, что такие подробности выкладываю, ты взрослый, тебе, как понимаю, важно всё знать. Так вот, он мог стать у меня первым. Мы однажды вчетвером в Тарусу ездили, это такое замечательное место на реке Оке: Даня, я, Надька Синицына и Игорь, дружок Данин, фамилию не помню. Заночевали в стогу, Надька после аборта, Игорю не дала, я готова была — романтика, умопомрачительные щекощущие запахи ... Ты знаешь, что такое стог сена? Как по-английски будет?

— Я знаю. Haystack.

— Ишь ты... Где ты так по-русски наловчился? Наверное, Данино влияние. Ну, короче, готова расстаться с девственностью, а дедушка твой не проявил настойчивости. Он вообще нерешительный. Выскажу предположение, что и в дальнейшей жизни не ведущим в отношениях с бабами был, а ведомым. А как ты, Кирилл, по этой части? Подружку имеешь?

Я уклонился от ответа.

— Позвольте, уважаемая Светлана Васильевна, не согласиться, — выступил дядя Генрих. — Очень даже решительным был Даниил. Сужу по личным наблюдениям. Женщинам он нравился, недостатка в них не ощущал. Увлечения его громкими были, не таился, не скрывал. Конечно, нехорошо, некрасиво перед женой, немало седых волос у Тани появилось, она любила его без памяти и прощала. Кто из нас без греха...

— Ну, не знаю... Думаю, ещё отражалось в поведении, поступках: Даня стеснялся еврейства своего, переживал, отсюда

робость. В классе всего два еврея было — он и Аксельрод. Мы на эту тему не говорили, но я чувствовала...

Возникла пауза. Касаться еврейской темы мне не хотелось. Отчасти скрытая сторона жизни деда не была ясна мне самому, и не с Башлыковой же обсуждать. Дядя Генрих понял моё состояние и увёл разговор в сторону, начал выпрашивать хозяйку о семье, детях.

— Муж помер три года назад. Онкология, — Светлана Васильевна глубоко вздохнула и допила остававшееся в рюмке. — Двое детей: сын и дочка, трое внуков. Серёжа в Москве обитает, строитель, Маша — чиновница, в нашей мэрии пост занимает. У обоих вторые браки. Помогают мне — на пенсию не больно-то проживёшь. А вы, Генрих, женаты? — и вкрадчиво скосила глаз.

Разговор под водку двигался ни шатко ни валко, зайчиком перепрыгивал с одного на другое, я понял, что больше ничего нового о деде не узнаю. Девочки появились в 7-м классе, до этого — раздельное обучение, одни мальчишки, про забубённых великовозрастных дружанов деда, красочно описанных им, Светлана ничего не знала — их к приходу девочек успели исключить из школы.

А между прочим, жаль, что нельзя найти и расспросить кого-то из этих бандитов — вот кто мог поведать разные чудовые истории... Увы, никого из них давно нет в живых: по словам деда, Тит погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах, Цымбу нашли на путях перерезанным электричкой, следы Боцмана затерялись. Дед поделился с читателями, что вытворяла эта троица, и бьюсь об заклад — большинство не поверило автору. В советской школе такие безобразия? Однако всё правда — дед в разговоре со мной подтвердил. Взять Тита. Отпетый пятнадцатилетний тип, даже не второгодник, а *третьегодник*, он отмачивал те ещё штуки. Дед писал, что называется, с натуры. По вкусу пришлась Титу новая «англичанка» Софья Петровна, Софочка — милая, невинная выпускница пединститута, красневшая по поводу и без повода. Он пылал от избытка чувств и придумал такое развлечение. Едва Софочка склоняла белокурую кукольную головку над классным журналом, размышляя, кого бы вызвать к доске, Тит вставал за партой и приспускал брюки, демонстрируя

прыскающим в кулачок двенадцатилетним оболтусам вполне мужской предмет под волосами. Хитрость заключалась в том, чтобы успеть натянуть брюки до того момента, как Софочка оторвётся от журнала и поднимет голову. Дважды Тит промахивался, и Софочка падала в обморок... А чего стоила скрытая прогулка упомянутой троицы во главе с Титом под стационарную платформу... Однажды они соблазнили наивного Даню пойти посмотреть «телевизор». Ничего не подозревавший, он поплёлся с троицей и... оказался под платформой, где омерзительно пахло собачьими и человеческими испражнениями. Смекнул, что становится соучастником чего-то плохого, однако удирать было поздно. Он увидел, как троица всматривается в щели между досками платформы, подглядывая под юбки ожидавших электрички женщин, а Цымба просовывает в щель остро отточенную камышину и резко толкает её вверх. В ответ — визг и мужской разъярённый голос: «Ну, гад, я ему сейчас яйца оторву!» Троица мигом смылась, бросив Даню, который улепётывал в сторону рынка, подгоняемый ужасом.

...За несколько секунд я проделал путь деда под платформу и сумасшедший бег в страхе возможной расправы. Куда-то в сторону ушли разогретые выпитым откровения Башмаковой. Вернувшись за стол, я вдруг захотел увидеть её юной, целующейся с дедом на лавочке взасос, и не смог. Нестройная, колеблющаяся, как занавеска под ветром, картина эта перекрывалась куда более зримыми фокусами со спущенными штанами на уроке английского и «телевизором» под платформой.

...Пора было закругляться. И тут хозяйку прорвало.

— Не любил Даня Россию, зло, мстительно о ней писал. Что плохого родина ему сделала? Хоть и еврей был, работал в большой газете, много печатался, за границу ездил, но не любил! Сужу по его книгам, некоторые смогла достать и прочесть. Не любил! — и пристукнула стаканом с водой как бы в подтверждение.

Я не ожидал такого поворота. Резануло: *хоть и еврей был...* Надо что-то ответить.

— Никакой злобы, мстительности я не обнаружил, — опередил дядя Генрих. — Покинул Россию потому, что предчувствовал грядущие скверные перемены и не желал в этом уча-

ствовать. Сильно сомневался, что вдруг, как по волшебству, все демократами, либералами заделались. *Выгодно* было такими считаться, вот люди и провозгласили себя демократами. «Назад дороги нет!» — как мантру повторяли на митингах на Манежке. А на поверку вышло — сами видите. Он на сей счёт хорошо высказался в романах...

— Но вы же не уехали! — Светлана с напором.

— Я — другое дело, — отрезал.

— Считаете — я несправедлива? Ну, а роман о Путине? 2012 года выхода. Ни Крыма ещё нет, ни Лугандонии. Путин в облике Дракона — помните обложку? Маша достала по своим каналам, дала почитать. Кошмар! Единственный из класса вызвался казнить выращенную ребятами утку. Злодей какой-то из подворотни! А свидетельства долбаной шпионки немецкой Ленхен, в Дрездене в доверие к Людмиле втершейся: и лупил, оказывается, Путин жёнушку, и изменял ей, и вообще, садист. А издевательская история, напрочь выдуманная, про внебрачного сына путинского, зачатого в Гансонии, читай — в Германии, который судит отца... Да там что ни страница, то поклёп: обожает Верховный Властитель змей, держит на даче террариум, а заодно подразделение ПВО на случай атаки с воздуха...

— Светлана Васильевна, это же особый жанр: реалии переkreщаются с антиутопией, — возразил я.

— Не знаю, какая там утопия, а вышла клевета! — не унималась Башмакова. — И что это за клон, который должен заменить президента? Даня отправил Владимира Владимировича на тот свет в марте 2017-го, угробив в вертолётной катастрофе. Очень, видно, хотелось счёты свести с ненавистным главой великой страны, за которого весь народ наш проголосовал на выборах. Придумал Даня сцену с Апостолом Павлом, вызвавшим душу Путина на Частный суд. Мытарил Апостол, изводил, ядовитые, коварные вопросы задавал — тут и взорванные дома с жильцами, и Беслан, и прочее, сомневался в вере его христианской... А вы говорите: не злобствует автор...

Я молчал. Дядя Генрих криво улыбался. Развивать дискуссию не имело смысла. Башмакова почувствовала и тоже утихла. Мы распрощались.

В Нью-Йорке умирает старый писатель-иммигрант. Остаются три чемодана его архива. Волей обстоятельств архив попадает к внуку, выпускнику Гарварда, свободно говорящему и читающему по-русски. Разбирая бумаги и фотографии, внук как бы примеряет на себя жизнь деда. Перед ним предстаёт яркая человеческая судьба — с завыками, находками, потерями, страданиями, любовью, изменами, горестями, утратами, обретениями.

Предстоит разгадать секреты, тайны, заглянуть в сокровенные уголки души, ответить самому себе на вопрос, на который дед уже не ответит: выше ли то, к чему он стремился, чем то, с чем боролся?

Органичным образом в канву повествования, ведущегося от имени внука, вписывается война в Украине: он вовлечён в события, вызванные агрессией России, участвует в спасении киевлянки — внучки близкой подруги деда. И неожиданная развязка... Всё это придаёт роману острую актуальность.